

Виктор НИКИТИН*г. Воронеж*

рассказ

**НЕТ
НЕТ
НЕТ**

Тут всего три остановки идти. Под ногами — пыль, песок: то снимают асфальт, то меняют тротуарную плитку, вечная стройка, неудобства. И всё же расстояние: мысли разные лезут в голову без спроса, даже думать не приходится, попросту некогда. И мысли все неровные из-за неровной поверхности, по которой идёшь.

Сумасшедших тоже трое — это явных, открытых. Не все их замечают, и то верно: стоит ли обращать внимание? У каждого своих забот хватает, к тому же это не дело отвечать на выходки больного человека. Их обходят стороной, отворачивают взгляды. Они постоянны, к ним привыкли.

Вот первая встреча. Эту бабу издали видно. Она ещё так в голос протяжно что-то выкрикнет — пронзительным нездоровьем всех вокруг оповестит. Слышно хорошо, даже слишком, только непонятно о чём. Какая-то беда надвигается — широко, уверенно. Высокий голос упражняется в раздольном крике; это призыв и предупреждение. Широкая чёрная юбка приближается пиратским флагом. Кофта того же цвета, непомерной рыбацкой сетью опоясывающая грудь чёрной волной впереди — в Арктике лёд колотит. Таковую ничем не проймёшь, а она легко тебя достанет. Однако, вопреки опасениям, ничего страшного не происходит.

Наверное, как-то к ней привыкли, чужих, нездешних на пути не попадается, пугаться некому; наверное, думают так: ну голосит баба из придури какой-то, блажь на себя напустила и сама распустилась, не держит себя в рамках. Голову отклонила чуть набок, тёмные с проседью волосы собраны в жёсткий пучок, вся фигура выражает неистребимое упрямство, словно она даже видом своим хочет кому-то досадить. У неё тяжёлое лицо бабы с характером, даже с норовом. Продуктовая сумка всегда оттягивает руку — их она меняет, перехватывая ношу, но наклон головы остаётся прежним — в правую сторону. Возраст — кирпичный, непробиваемый. Одно лишь можно с уверенностью сказать: свои полвека она уже осилила.

У торговых рядов на остановке происходит метаморфоза: она подходит к ближайшему



ларьку с овощами и фруктами, наклоняется к окошку и внятно спрашивает: «Это вчерашние? А я думала, свежие».

Дальше я не слышу, не знаю, чем всё заканчивается, — мне надо идти. На ходу оглядываюсь и вижу, как она достаёт кошелек из сумки. Значит, не такая уж она и дура, может себя нормально вести и разговаривать. Тогда что означают все эти её выкрики вдоль по питерской да во всю ивановскую? Или «вчерашние-свежие» это всего лишь пауза перед новой вспышкой безумия?

Как-то она мне попала навстречу, когда не кричала, а что-то бормотала себе под нос. Она спорила с кем-то, настойчиво убеждала, вдруг повышая голос, отстранялась. «Нет и нет, — говорила она. — Нет и нет», — отвергала любые предложения.

Потом я перехожу дорогу и попадаю в царство следующего персонажа. Тут история совершенно другая — затаённая, тихая. Немолодой уже человек, но и не старый, вроде бы парень, но потёртый, съеденный временем, безнадежно застрявший в прошлом. Зимой на нём пыльный зеленоватый пуховик на вырост, рукава трубами, на голове — лыжный петушок, на ногах — выдавшие виды серые «казачки». Рот всегда полуоткрыт, в глазах сосредоточенность на какой-то важной для него работе и одновременно удивление.

Он вышагивает в своих «казачках» по одному и тому же маршруту, строго соблюдая границы своих владений, — вот как раз от торговых рядов, к которым он никогда не переходит дорогу, и до следующей остановки. У него тут всё размечено, досконально проверено. Он знает, куда можно ногу ставить, а куда нет. Он видит то, чего мы совершенно не видим, а потому сразу бросается в глаза, становится странным; ещё бы: идёт человек прямо и вдруг резко останавливается, словно перед ним выросла стена, глядя себе под ноги. На лице у него явное замешательство, однако длится оно недолго. Сумасшедше шаря глазами по тротуару, он находит спасительный выход и, поджимая губы, с каким-то хитроватым выражением, крадучись, с отчаянной решимостью обходит невидимую преграду, перешагивая в сторону ещё какие-то стены, после чего про-

должает свой путь. У перекрёстка он останавливается, глядя по ходу куда-то вдаль, на другую сторону улицы. Легко может простоять так и полчаса. Или повернётся налево на девяносто градусов и, сложив руки на груди, согнув одну ногу в колене, будет что-то созерцать в пространстве парка на противоположной стороне проезжей части. В это время для него ничего вокруг не существует, всё отменяется. Он застывает, уходя в расположение своих мыслей, занимая там твёрдую позицию, в которой его сложно будет достать.

И снова в путь, обратно, отмеряя пределы своего существования. Летом — в камуфляже охранника, в старых замшевых кроссовках под «адидас». Вот идёт, натываясь на препятствие, снова растерян, но с честью выходит из неожиданного затруднительного положения, едва не отпрыгивает в сторону, от старательности по-детски вытягивая губы, перешагивает невидимые нити, стальные канаты, флажки. Всё делает чётко, не ошибаясь. Борец невольного стиля. Внешне он кажется вполне безобидным, сосредоточенным исключительно на себе, но это впечатление обманчиво. Иногда на него находит, возникает такая потребность, и тогда он может шепнуть поравнявшейся с ним женщине какую-нибудь гадость, обнаруживая в себе застоявшегося без дела самца. От него шарахаются и, увидев его красноватое, опустошённое лицо, разумно удаляются прочь, не выказывая никаких протестов. И ведь что интересно, он не ко всякой женщине обращается, чувствует, где его нескромные предложения не встретят отпора.

Оставив его за спиной со сложенными на груди руками и застывшим взглядом, устремлённым поверх сосен, я перехожу дорогу у светофора и оказываюсь в парке. На центральной аллее меня встречает женщина в основательном, наверное, парадном зелёном платье с длинными рукавами и верхней пуговкой, застёгнутой у самого подбородка. Даже показалось вдруг, что она распахнула мне объятия, — такое у неё было восторженное выражение лица. Словно она меня поджидала здесь и застала врасплох своим преувеличенным экзальтированным проявлением чувств. Она что-то говорит, глядя мне прямо в лицо, широко улы-

баясь, найдя в моих глазах какой-то нужный ей ответ. Понять её трудно, связать в одно целое эти слова невозможно. «И вот стоит и смотрит, и не узнаёт, а они уже приехали... Давно приехали и ждут. Им-то что, взяли и приехали, а он гуляет, видишь ли, не торопится никуда. Ну и что теперь делать?»

На ногах у неё чёрные лакированные туфельки, она перебирает ими на месте от нетерпения, стараясь мне что-то втолковать. Разумеется, я ничего не отвечаю ей. Обхожу стороной, уже не слушая её продолжения одного и того же: что кто-то приехал, «они приехали» и ждут кого-то (не меня же?), а он всё не идёт и не идёт... Не теряя надежды достучаться до непонятливой головы, она взывает мне в спину, но расстояние делает своё дело, и вскоре она замолкает, ожидая нового подходящего объекта для своих тирад. Она ещё не ко всякому обратится, к женщине — никогда. Но что она находит во мне, в моём облике? Что-то близкое, уязвимое? Меня так легко смутить, огоршить — наверное, поэтому? Мне кажется, что всё это происходит из-за того, что я встречаюсь с ней глазами, слишком я любопытен в бытовых мелочах, по инерции той жизненной силы, что сидит во мне. Знаю, чего не надо делать, но делаю: когда натыкаюсь на неё, то непременно попадаю взглядом в её сумасшедшие, без возраста, глаза, в которых искрами горит каждодневный кошмар кругового веселья, выплеск ещё большей силы, безоглядно выпирающей наружу.

Спасенья нет, есть бесконечность. Зимой её можно встретить в добротном тёмном пальто по фигуре со светлым барашковым воротником. Тогда она становится похожа на бывшую строгую учительницу со своими правилами или постаревшую разбитную молодку в ладных сапожках, что топчется на аллее парка, выпуская пар, узорчатой варежкой заботливо прикрывая рот, собирая в беспорядке все те случайные слова, которые обязательно прорвутся свободным потоком, — как угадаешь. В ясный задорный день с поскрипывающим на морозе снежком при соответствующем скоплении людей это выходит веселее и звонче. «Ну, ты посмотри, а он стоит как ни в

чём не бывало. Стоит себе и стоит, а его там ждут. И что дальше?»

Нет, я не стою. Я вот вдруг о чём подумал: а ведь ни разу не было такого, чтобы они, эти трое: баба-крикунья, мыслитель-ходок с препятствиями, учительница-молодка, — столкнулись друг с другом, чтобы разом вдруг пересеклись их пути и чтобы посмотреть тогда, что из всего этого получится. У каждого своя территория, свой проход в жизни. У них есть границы, которые они соблюдают. Они никогда их не нарушают, они не идут дальше.

Но главное тут другое: за всем этим я совершенно забыл, куда направлялся. Куда я шёл и зачем? Это они забили мне голову — всё вылетело напрочь. А я уже стал думать о том, что с ними случилось, как они живут и кто их родители. Что с ними вообще произошло? Может быть, им когда-то не хватило внимания и любви? Мне себя мало, но я не о жалости, а о том, что постоянно сдерживаюсь, хотя иной раз хочется и ответить. Бывает напряжённая обстановка. Я сам весь целиком давно уже построен на отрицании. Мне многое не нравится, я протестую против всего сразу. И как тут не протестовать? Знакомая история: стоит только задуматься. Лучше всего, конечно, не думать, но как это сделать? Как себя отменить?

Я вдруг поймал себя на том, что иногда разговариваю сам с собою. Если это началось, то теперь ничем не остановишь. Мы живём в каком-то перевёрнутом мире, неужели я один это замечаю?

Надо успокоиться. Куда я шёл? Зачем?

И я иду дальше, я обязательно вспомню.

«Нет и нет», — шепчу я своё заклинание, чтобы уцелеть.



рассказ

На стойке регистрации в аэропорту выяснилось, что он летит бизнес-классом. Место ему определил лист бумаги, который он распечатал дома на принтере. В присланных электронной почтой данных значилась его фамилия: IGOR VLADIMIROVICH TIKHONOV. Он прошёл «зелёным коридором». Камера показала что-то интересное в его сумке. Тихонова спросили: «Что это? Подводное ружьё?» Он ответил: «Зонтик. — Добавил: — От дождя», — и показал знаками, как и зачем держит его над головой, словно ему уже пришлось объясняться за границей. Проверяющие переглянулись.

Среди немногочисленных ожидающих вылета бизнесменов он заметил знакомое лицо, которое часто показывали по телевизору, окружённое плотным частоколом микрофонов. «Неужели мы полетим вместе?» — удивился Ти-

хонов. У окна сидели двое немцев, они о чём-то разговаривали между собой и пили пиво из банок. Вскоре объявили их рейс, и они ушли.

Тихонов в два часа ночи пить пиво не решился; он набрал в тарелку разных орехов и налил стакан апельсинового сока. Потом взял газету и устроился на диване. Он узнал результаты первых хоккейных матчей и прочитал статью о европейском кино.

Где-то через час объявили посадку. В микроавтобусе Тихонов обнаружил себя в составе небольшой делегации, возглавляемой тем самым лицом, и ему стало приятно.

Они вышли у ярко раскрашенного «Боинга-767». Все остальные пассажиры ждали, пока они поднимутся по трапу.

Тихонов сел у окна. Он вытащил из кармана пиджака мобильный телефон, надел наушники и стал слушать, как группа «А-ха» прощается с летом.

Во время полёта Тихонов съел форель с жареным картофелем и маслинами, пару кусочков сыра и несколько виноградин, снова выпил апельсинового сока. От пива он отказался, согласившись на порцию виски. Стюардесса-блондинка присела перед ним на корточки и протянула поднос. Он взял стакан и отметил её улыбку и круглые колени впереди улыбки. Он почувствовал, что в его жизни происходит что-то важное и он становится другим человеком. В иллюминаторе ничего не было видно.

Стюардесса снова присела перед ним на корточки и ободряюще улыбнулась. Он протянул руку, чтобы погладить её колени, но взял стакан. Настроение было такое, словно он полностью отрешился от себя прежнего для того, чтобы выполнить какую-то важную миссию или совершить восхождение. От третьей порции виски он отказался, сообразив, что не очень хорошо будет, если рано утром он приземлится в аэропорту пьяным.

Когда «Боинг» сел, было ещё темно. Наконец вышли, и Тихонова сразу же окатило плотной волной нагретого пыльного воздуха, не успевшего остыть за предыдущий день. В Москве уже стояла осень, а здесь продолжалось и никогда не заканчивалось лето.

Формальности прошли быстро: на пять дней

пребывания в стране визы не требовалось. В здании аэропорта их ждал парень с табличкой, на которой в столбик были написаны два слова: «FORUM MOSCOW».

Дорога до города шла через пустыню. Уже занимался рассвет, и по сторонам можно было различить одинокие чахлые кустарники, сиротливо придавленные к земле, а впереди на ровном месте, словно ниоткуда, выростала и надвигалась стена подсвеченных небоскрёбов.

Тихонову удалось поспать чуть больше двух часов. В девять он вышел из номера и поднялся на лифте на крышу отеля, где предполагался завтрак. После чая, поборовшись со шторой на окне, он выбрался на террасу, — хотелось посмотреть на город с высоты. Море охватывало весь видимый горизонт. По голубой искрящейся на солнце ленте воды вытянулись длинные нити танкеров.

Его окликнул литературный критик, беседовавший с женой знакомого телевизионного лица, которая лежала в шезлонге в тени под козырьком. Тихонов подошёл и представился. Говорили о современной французской литературе. Для него эта тема какое-то время назад оказалась исчерпанной, а потому он сказал: «Французская литература весьма легкомысленна. Иной раз кажется, что всё пишется исключительно ради того, чтобы обязательно процитировать Шатобриана или Альфреда де Мюссе, ну и, конечно же, пользуясь готовыми лекалами, выдать парочку афоризмов как бы от себя». Его слова вызвали благосклонную улыбку у дамы, которая, между прочим, занималась как раз переводами с французского.

Следом, когда в номер принесли расписание выступлений, ему в голову вдруг пришла мысль, что он сам существует как приложение для выполнения каких-то определённых функций. Он тоже не самостоятелен, ему надо обязательно на что-то опираться.

Тихонов рассеянно сделал пометки на полях расписания и спустился в «Английский паб». В зале сидели в основном англичане, занимающиеся нефтедобычей. Их оживлённый, под пиво, разговор происходил в дальнем углу, а сразу у входа Тихонов обнаружил согнувшуюся над меню плотную фигуру критика. Как только Тихонов уселся к нему за стол, тот про-

изнёс: «Интересно», — и кивнул ему за спину. Тихонов обернулся и сначала увидел потемневший от времени резной деревянный сундук, а потом его взгляд упёрся в стену, снизу доверху занятую полками с книгами. Это выглядело очень странно — в таком месте.

«Я смотрел, — там и на русском есть», — сказал критик. Тихонов отодвинул стул и шагнул к полкам. Он наугад прикасался к корешкам книг, наклонял голову, чтобы прочесть названия. Он хотел найти что-то определённое? Ни одной его книги здесь не было.

Конференция должна была состояться завтра, а пока что в отель прибывали другие её участницы. Тихонов спустился на первый этаж и словно попал на перекрёсток с регулируемым движением: по холлу разъезжали многочисленные чемоданы на колёсиках, они покорно волочились за тянувшими их за собой хозяевами. Это организованное перемещение в лифт вдруг делало Тихонова исключением из правил. Неожиданно он почувствовал свою обособленность, но потом решил, что ещё не сумел приноровиться к действительности, к существующему порядку вещей.

Поднимаясь к себе в номер, он вспомнил, что спускался для того, чтобы что-то спросить у дежурной, — и следа в голове не осталось. Теперь в кабине лифта он испытал давление со стороны окружающих его людей. Было такое ощущение, словно он что-то потерял в себе и теперь его вытесняют. Наверное, в них содержалось больше жизни.

В номере Тихонов немного успокоился. И с чего бы ему волноваться? Я должен рассказывать о том, чего у меня нет, подумал он. Решив отвлечься, он минут десять смотрел телевизор, лёжа на широкой кровати. Потом выключил, почувствовав усталость и отсутствие интереса. Уже стемнело. В ванной комнате долго чистил зубы, стараясь сопоставить отражённое в зеркале лицо со своим внутренним состоянием. Когда выключил свет и коснулся головой подушки, то заснул почти мгновенно.

Его выступление прошло успешно. Характеризуя творчество местного писателя А., он упомянул имена Томаса Вулфа и Уильяма Фолкнера. У него попросили текст выступления то ли для газеты, то ли для университетс-

кого сборника — он не разобрал. Тихонов вытер платком пот со лба и увидел её.

Как это бывает? Он не знал. Разве существуют правила? Несколько слов по случаю, улыбка, взгляд в сторону, рука отводит тёмные волосы. «Камила», — представилась она. По окончании всего была обещана культурная программа. «Я покажу вам город». Теперь понятно.

Они вышли всей небольшой делегацией и сели в микроавтобус. Снаружи солнце палило нещадно, а здесь, внутри, было прохладно из-за работающего кондиционера. «Это старый город, — сказала Камила, — можем совершить прогулку». Они увидели узкие улочки с прилепившимися друг к другу домами с плоскими крышами, голые, серые стены, каменные ступени, поднимающиеся вверх... Выходить не хотелось.

Ветер с моря до некоторой степени освежал и вселял надежду на разумное изменение планов. Пляж был усеян песком почти белого цвета; казалось, что и он выгорел на солнце. Тихонов приподнялся на лежаке и, щурясь в тёмных очках, посмотрел на выдававшийся далеко в море пирс. Ещё более далёкие танкеры всё так же несли свою вахту — они словно караулили кого-то. Важное телевизионное лицо качивалось на волнах вместе с женой. Литературный критик стоял на влажной полосе берега, среди камешков и ракушек, и боролся с непослушной рубашкой, стараясь защитить плечи от пекла. Неправдоподобно голубое небо захватывало врасплох, оно опрокидывало все представления о времени и пространстве и зримо поднималось куда-то ещё выше.

Тихонов закрыл глаза. Ему вдруг показалось, что он совершенно забыл себя прежнего. Он потерял себя, и исчезли все определения в мире. Ничего и не хотелось искать и возвращать. Словно что-то выскользнуло и бесследно кануло в мокром песке.

Он услышал учащённое дыхание и открыл для себя новый мир. Камила только что вышла из моря. Она была в голубом купальнике. С её смуглой кожи стекали капельки воды. Она наклонилась за полотенцем. Мокрые, спутавшиеся волосы прилипли к её лбу. Она улыбнулась, сказала: «Вода тёплая», — и подняла руки.

Всё выглядело естественно: море, солнце,

песок, девушка, — настолько естественно, что невозможно было поверить в собственное существование. Он уже понимал, что всё происходит в соответствии с природой, и в его позиции наблюдателя слишком много от камней старого города. Он улыбнулся в ответ. Очки служили ему защитой от дальнейшего проникновения. Наверное, он слишком осторожен. Он всегда был осторожен и потому многое пропустил. Была ли в этом радость? Разве что ирония и видимость душевного покоя. Обрадует не осторожность, а частичка безумия, хотя бы какая сумасшедшинка.

Быть в поле зрения, быть объектом чьего-то интереса... У наблюдателя тоже могут быть чувства. Немое предложение. Такое же молчаливое согласие. Они вместе вошли в воду. Теперь он был беззащитен. Он изображал неуверенность от мнимого холода, а в ней неожиданно проснулся ребёнок. Его поддержка отозвалась в ней смехом: она стала плескаться. Обрызганный, он зафыркал, как большое, напуганное животное, и тяжело поплыл, поднимаясь на волнах. Всё начиналось заново.

Он привёз с собой фотоаппарат, чтобы сделать какие-то памятные снимки о поездке. Она взялась его сфотографировать и, кажется, шёлкала всё без разбору: Тихонова на лежаке, Тихонова с волнами, Тихонова на песке, Тихонова с литературным критиком... Настал и его черёд сделать ответные снимки. Эта игра с фотоаппаратом её захватила. Каменный парапет, отделявший пляж от дороги, превратился в гимнастический снаряд. Она изображала уже нечто победоносное: разворачивалась, меняла походку, вскидывала руки. Последнюю фотографию сделала жена важного телевизионного лица: на ней Тихонов и Камила стоят вместе — он слегка её приобнял.

Вечер они проводят в баре отеля, но ещё прежде они едут по пустыне на микроавтобусе. Фары в сгустившихся сумерках неожиданно выхватывают горящие глаза пасущихся верблюдов, машина сбавляет скорость, чтобы избежать столкновения, и настроение Тихонова меняется: он испытывает какое-то давление, это не жара и не эффект незнакомой местности, это давление иного рода, потому что он стоит перед выбором.

У него лучше получается писать, чем говорить, тем более говорить так, как хочешь. Тем не менее он что-то рассказывает, но не о себе. Этому правилу его никто не учил, наверное, он и не знает, что есть такое правило, — просто он всё разом забыл. Ну да, он говорит о фильмах и книгах, но движет им желание ровно войти в то, что происходит сейчас.

Она рассказывает о себе, и оказывается, что ей двадцать восемь, она училась в Москве, успела побывать замужем, живёт не здесь, а в другом городе, там вообще всё по-другому, не очень хорошо, и в столицу приехала по приглашению от организаторов конференции... Её слова становятся причастными к его жизни, в них можно узнать много знакомого и о нём, раз уж движение времени сделалось совместным.

В её глазах внезапная грусть и ожидание. Они выходят на воздух. Тёмная и шумная стена моря и неба встречает их решительным ветром. Необходимость выталкивает из него слова: «Ты придёшь?» Он показывает ей брелок с ключом от номера.

Его движения лихорадочны. Он переставляет предметы с места на место: чемодан передвинул в угол, убрал полотенце с кровати, освободил столик от стаканов, снова поставил, открыл холодильник, закрыл... Лёг на кровать и сомкнул веки, чтобы дать передышку зрению, и всё равно увидел её мокрые волосы, прилипшие ко лбу, кожу, усеянную стекающими капельками...

Его отношения с женщинами никогда не были простыми. Чаще всего он их просто не понимал, и ему казалось, что с ними надо быть либо каким-то брутальным идиотом, либо разыгрывать из себя совсем уж невообразимого рыцаря. Раньше, когда он был моложе, для него странным образом имели большую важность слова: творчество было сродни физическому наслаждению и становилось равносильно оргазму, а теперь для него важным было тело, для описания которого у него не хватало слов.

Она пришла и принесла с собой запахи моря, нагретого песка, ореховой карамели и необузданной свежести. Сначала он отступил от двери (пропуская её?), затем шагнул вперёд: руки и плечи встретились в объятии, губы нашли друг друга, чтобы утолить жажду и

скрыть себя от окружающего мира. Ночью можно не быть самим собой или, наоборот, быть. Он опустил перед ней на колени и уткнулся лицом в низ живота. Она вздохнула и сжала пальцами его плечи. Прошептала: «Подожди». Он послушался, встал и, откинув покрывало, лёг спиной на кровать, глядя за тем, как, освобождаемая от одежды, проявляется её сумеречная нагота. Плавные линии и изгибы. Головокружение. Обладание. Помеченная светлыми, не загоревшими полосками на груди и в области самого сокровенного, она подошла, села на него, раздвинув ноги и упёршись руками в постель, потом склонила голову, и её распущенные волосы прошли по его лицу шелестящей морской волной...

Ранним утром он отчего-то проснулся, увидел начало малинового света на оконных шторах, потом увидел её, спящую, проследил взглядом до самых кончиков пальцев её ног и в ту же секунду вдруг понял, что суть происходящего от него ускользает и всё предоставлено ему лишь для того, чтобы быть прошлым. Это выглядело наказанием, тем более странным, что именно в эту минуту ему было хорошо.

За завтраком случилось продолжение: она о чём-то оживлённо рассказывала, а перед ним вдруг стали проявляться контуры его отставленной в сторону жизни. И оказалось, что ему сорок пять, у него семья, двое детей и всё не так просто. Она замолчала. Он грустно улыбнулся ей и отпил кофе из чашки. Она сочла это за сожаление из-за неизбежного расставания: вечером ему надо было улетать, а ей — возвращаться к себе. Они обменялись имейлами, чтобы продолжить отношения: письма, фото, кто знает, что ещё...

Он улетал с ощущением незавершённости и пустоты, а дома, когда увидел своих, эта пустота начала равномерно и неизбежно заполняться. Два раза у него в мозгу большими буквами вспыхивало её имя: КАМИЛА. И он, вспоминая её оживление на пляже и ночь в номере, сам оживлялся для чего-то неясного, а потом всё это оживление куда-то исчезло.



Четвёртым в купе оказался словоохотливый командированный в светлой рубашке с коротким рукавом, ехавший налегке; из вещей при нём была лишь кожаная папка на молнии.

Услышав, что Даша, дочь Олега, впервые едет в столицу, он заулыбался и принялся делиться своими познаниями, как человек, который каждый месяц обязательно приезжает в Москву. Дошло и до еды, до возможностей перекусить где-то, если что, и тут он вовсе расцвёл, рассказывая про сеть забегаловок под забавным названием «Пирожок-творожок»: «Мне нравится, очень удобно». Смешно так сказал, что и Даша заулыбалась в ответ, и её мама, жена Олега, вододушевилась, расставаясь с последними сомнениями. Дашины губы уже чуть ли не шептали это заветное: «творожок-пирожок». А Олег смотрел в

окно на набегающие пригородные платформы и готовился к встрече с дядей Славой, обладавшим, по семейной легенде, сложным неуступчивым характером.

А вот и он: едва поезд остановился, дядя Слава возник у вагона, высматривая знакомое лицо. Он знал только своего племянника Олега, а Дашу и Любу видел на фотографиях. Только прибывшие шагнули на московскую землю и вся троица произнесла: «Здравствуйте!» — в разной степени здоровой расслабленности, как дядя Слава схватился за сумку Любы, поморщившись, замотал головой, коротко бросил «потом-потом» и зашагал к зданию вокзала.

Ничего не понимая, они переглянулись между собой и поплелись следом, сливаясь с равномерной толпой. Дядя Слава приостановился и показал им своё напряжённое лицо, которое ещё вдруг стало сокрушённым: «Ну что вы еле-еле... побыстрее не можете? Сил, что ли, нет? Я насколько вас старше!» Поневоле пришлось взять предложенный им темп. Они старались не отставать. Лавируя в толпе с большой сумкой на плече, Олег держал перед собой дядину спину, прокладывая им дорогу. Люба и Даша семенили сзади, уже запыхавшись, покрасневшие и захваченные непонятными пока что впечатлениями. С впечатлениями было сложно, невозможно было их оценить и что-то ухватить на ходу, а так хотелось.

Минуя близкую букву «М», бодро спустились в подземный переход (дядя пояснил: «Мы по другой ветке поедem, там народу меньше») и увидели длинный-предлинный коридор с людьми, которому, казалось, не было конца. Олег вздохнул и, приподняв плечо, поправил ремень сумки.

Дядя оглянулся и спросил:

— Ты что, устал?

— Да нет...

Люба с Дашей задержались у одного из киосков, тянувшихся по всей левой стороне; что-то там их заинтересовало — блестящее и женское. Дядя Слава тут же вернулся и принялся их отчитывать: «Чего вы тут не видели? Тут столько всякой ерунды!» Нет, расслабиться никак не получается. Вперёд, только вперёд. А сбоку что-то высвечивается, отражается, и сразу много всего, и музыка звучит, и кто-то предлагает что-то в мегафон, вот «увлекательную экскурсию», гул-

ко разносится под землёй, и руки протягивают рекламные листовки, и глаза разбегаются, и так хочется именно какой-то ерунды.

Вышли на божий свет, в московское утро, стремительно переходящее в суматошный солнечный день с потоками машин, мельтешением лиц, топотом ног, огромной рекламой на стенах — вот тут хорошо оглядеться по сторонам, чтобы почувствовать размах и ширь... Но дядя торопит, сокрушается: «Как дети малые...» — и втягивает их под другую, более удобную букву «М», как в лёгкую панику.

Покупка жетонов — короткий ликбез, долгий спуск по эскалатору, потом быстро, наперерез встречному людскому потоку, к первому вагону — «там народу поменьше». А его уже нет, поезд только что ушёл, оставив после себя волнение особого пыльного воздуха. Теперь ждать следующий, короткая передышка. Олег снова вздыхает: «Неужели мы куда-то опаздываем? Мы — делегация, нас ждёт самолёт, ведь предстоит ещё куда-то лететь. И что будет, если мы опоздаем на свой рейс, — подумать страшно».

Олег ошалело смотрит на дядю; они десять лет не виделись. Дядя стал ещё круче, ещё невыносимее, наверное, уже можно догадываться насколько, а тот вдруг расслабляется, его лицо зримо становится мягче. Он улыбается, кивает в сторону Любы и Даши, стоящих к ним спиной и что-то оживлённо обсуждающих (красивые светильники на станции или заколку для волос в киоске в подземном переходе?), и, подмигнув Олегу, поднимает большой палец в знак одобрения — как, мол, тебе повезло, женщины у тебя что надо.

Ну да, мысленно соглашается Олег, они очень хороши в эту минуту: Люба — неожиданно посвежевшая, довольная мама в расцвете, и дочь Даша — ей четырнадцать, она вся озарена такой радостью, что не требуется никаких объяснений, у неё всё впереди. И у него самого появляется надежда на то, что всё образуется и наладится, дядя уже в норме, и нет никаких причин им волноваться.

Когда добрались наконец до дядиной квартиры, он сделал им внушение, которое как бы всё объясняло и в то же время ставило в тупик. Из его речи следовало, что они ничего не понимают в жизни и никакого понятия не имеют о том, что творится вокруг. «Не время, — с тревожным на-

жимом говорил дядя, — не время сейчас ездить!»

Впору было смутиться от такого негостеприимства. «А как же тогда... — толкнулись в горле у Олега невысказанные слова. — Ведь у нас был разговор по телефону, вроде бы обо всём договорились, и сами же нас пригласили...»

Но дядя продолжал раздваиваться на глазах. Один говорил притихшим Любе и Даше: «Проходите в комнату, сейчас завтракать будем», а другой тут же со строгой насмешливостью, опускающей до уровня неразумных малых детей, спрашивал впусую, уже не их лично, а вообще всех, подобных им. «Вы новости-то по телевизору хоть смотрите? — И хмыкал: — Ездят они... — Тут же делал неожиданное признание: — Да я два года назад от командировки в Америку отказался!» Видя недоумение на их лицах, рассказывал: «Прикинулся больным, пошёл и взял больничный в поликлинике. Чего я там не видел, в этой Америке?» Потом качал головой, приглушённо добавляя совсем непонятное, как присказку, должно быть, вдогонку каким-то своим мыслям, словно подтверждая что-то: «Его лошадка», — и скрывался на кухне.

В комнате они видят старинный зеркальный шкаф с нависающим сверху завитым орнаментом из листьев, рядом — внушительный буфет со множеством уступов и дверок, похожих на зубчатые крепостные стены замка. В их глазах эта мебель является выдающейся, требующей несомненного уважения, однако невыгодное соседство с отработавшими своё телевизорами тридцати-, сорокалетней давности (их обилие поражает), стоящими друг на друге и как-то боком, сгребало всё в кучу, накладывало на мебель тень, и из антиквариата она превращалась в рухлядь.

Дядя жил одиноко. Будучи на пенсии, он ещё работал и на досуге любил поковыряться в разнообразной технике: кроме телевизоров, это были такие же старые радиоприёмники. Где он их насобирает? Их остатки в виде деталей можно было обнаружить повсюду — даже на подоконниках.

У дяди имелась знакомая женщина Виктория Борисовна, которая очень любила кошек, у неё их было несколько. «Такие замечательные кошечки, — оживлённо рассказывал он, — ну просто непередаваемо!» И Виктория Борисовна, судя по всему, тоже была весьма замечательной, а что-

бы Олег, Люба и Даша в этом не сомневались и могли разделить его восторг, он пообещал позвонить ей. Так и сказал: «Вечером ей обязательно позвоним». И ещё долго рассказывал о ней и её пушистых и озорных питомцах, совсем забыв про время; уже и Даша ёрзала на стуле, и Люба принуждённо улыбалась, и Олег, поджимая губы, нетерпеливо кивал головой, пытаясь вставить хоть слово, которое позволило бы им улизнуть на улицу, — всё же в Москву они приехали не для того, чтобы в квартире сидеть.

Едва не впад в оцепенение, как-то оказались в коридоре, у самой двери. Дядя сделал короткое напутствие, мол, осторожнее там, и добавил про обед — чтоб возвращались. Жена нехотата ответила: «Вы не волнуйтесь, если что, мы найдём, где поесть». Даша мечтательно добавила, пробуя на вкус буквы: «Пирожок-творожок». От дядиной успокоенности не осталось и следа. «Да вы что? — возмутился он. — Никаких забегаловок! Вы знаете, чем там кормят? Я вижу, вас одних оставлять совсем нельзя, ещё в какую-нибудь историю попадёте. Ну-ка, погодите...» Рука потянулась к пиджаку, насмешливые губы по-своему пересказывали только что услышанное: «Где-то там они есть собираются... Вот ведь... Хм... Его лошадка».

Широкое московское лето звало куда-то безоглядно — хотелось сразу многого и хотя бы самого простого: побродить по улицам, поглазеть на витрины, посидеть в кафе. Они были расслаблены, и только дядя Слава точно знал, что им нужно. Нигде нельзя остановиться, задержаться хоть на минуту. Отстал — тебя подгоняют. На Арбате многолюдно, и всё интересно. Но нет, почему-то надо идти дальше. «Фокусов, что ли, не видели?» Дядя снова хмыкает. А вот и надпись зазывная по фасаду: «Творожок-пирожок». Даша улыбается: вот бы зайти! Куда там... Они подавлены. «Это же Москва — тут рот не разевай!» — широко вещает дядя, вытаскивая гостей из внутреннего захолустья, которому впроу были разве что всякие там «пирожки-творожки».

У витрины с разнообразными часами он вдруг останавливается. «В этом магазине я познакомился с Викторией Борисовной. А было это в семьдесят... каком же году?» Он задумывается, а Олег встречается глазами с Любой, на которой, кажется, уже и лица нет, — только какое-то от-

чаяние высветилось, а ещё укор ему. Ну да, он виноват, конечно, — кто же ещё... Дядины воспоминания похожи на лекцию, слава богу, небольшую, или праздничные мероприятия по узурпации власти. «Я смотрю — женщина красивая у прилавка стоит. Я подхожу, а она часики женские себе подбирает...» Олегу хочется как-то втиснуться — «...я смотрю, вкус у неё есть...» — в этот поток — «...и тогда я к ней обращаюсь: позвольте...», — но у него ничего не получается. Заканчивается всё это так же неожиданно, как и началось: дядя просто отступает от витрины. В магазин они так и не заходят.

В этот день получается только одно, да и то с большим трудом, — купить самое обыкновенное мороженое. Дядя Слава отговаривает их, для него есть мороженое на улице — это последнее дело, что-то не вполне пристойное, лучше его съесть в нормальной обстановке — дома, а не на ходу. Про возможность кафе, конечно же, ни слова. Но они упёрлись (отступать дальше уже было просто некуда) и добились своего: мороженое оказалось очень холодным, почти ледяным, да ещё и зелёного цвета — в общем, погорячились напрасно, удовольствия было мало.

На следующий день добрались до Красной площади — и снова в сопровождении. Положение становилось двусмысленным: с одной стороны, дядина опека их сковывала, не давала свободно вздохнуть, а с другой — им не хотелось его как-то обидеть. И всё же что-то надо было делать, чтобы к чувству благодарности не примешивалось разочарование, грозившее вырасти в угрюмое недовольство. У Олега созрел план: под каким-нибудь простейшим предлогом он выйдет из квартиры, а потом через какое-то время жена и дочь последуют за ним. Находчивая Даша спросила: «А мы под каким предлогом?» Жена заключила: «Он нас не отпустит». По счастью, ничего этого не понадобилось; закончились выходные, и дядя вышел на работу, отдав им ключи от квартиры, показав перед тем (и не один раз), как ими пользоваться.

Обрётённая свобода распахивала перед ними все двери. От желаний распирало грудь, хотелось туда и сюда, и не идти, а бежать. Поначалу всё шло хорошо: они проплыли по Москве-реке, вот и фотоаппарат пригодился, виды были чудесные, пиво в буфете холодное, кофе горячий.

А потом начались разногласия. Папу интересовали достопримечательности, маме же с дочкой в первую очередь были ближе торговые ряды, — культурный обзор потом, в качестве приложения или примечания. Даже и поссорились. Олег сказал: «Стоило ли тогда приезжать, чтобы...» Люба прервала его: «Тебе на нас наплевать». Не сошлись и разошлись. Договорились встретиться уже вечером, в восемь часов, у памятника Пушкину — где же ещё... А если Любы с Дашей там не окажется, значит, они дома, у дяди Славы.

Получив определённое эстетическое удовольствие ещё и от неожиданного одиночества, которое странным образом его взбудрило, Олег тем не менее спустя использованное с толком время слегка загрустил. Чего-то не хватало. Наверное, хотелось поделиться впечатлениями со своими и заодно порадоваться за них.

В назначенный час он вышел из метро у памятника и, прождав ещё минут пятнадцать, понял, что они не придут. На большой, манящий невнятными соблазнами город опускались сумерки. Олег без всякой цели пошёл по Тверской, продлевая в себе чувство незавершённости дня. Другое чувство — чувство прекрасного — было насыщено, оно пряталось где-то в тяжёлой голове. Теперь хотелось есть. Впереди он увидел «Макдоналдс»; не «Пирожок-творожок», конечно, но всё же... Вместо кока-колы взял чаю, ну и гамбургер — куда же без него. Жевал и думал про Любу с Дашей, пытаясь представить, что они там делают у дяди, как они вообще. Проглотил последний кусок и словно очнулся. Вдруг заспешил.

Обеспокоился не напрасно. Люба с Дашей лежали на узком диванчике в меньшей комнате в обидной (это сразу стало понятно) темноте. Рядом угадывались два старых телевизора и тут же раскладушка, на которой спал Олег.

— Что случилось?

— Только свет не включай, — шёпотом сказала Люба.

Он ослушался; жена и дочь поморщились от вспыхнувшей лампочки. Вид у них был неважный.

— Мы только на минуту вернулись, — рассказывала Люба.

— Мама деньги забыла, — пояснила Даша.

— Да, я деньги забыла...

Дядя Слава уже вернулся с работы. Узнав, что

они остались одни, он не выпустил их из квартиры. Как это можно им вдвоём шляться по Москве? Всякое может случиться... Нет-нет, пусть уж посидят дома и дождутся Олега, так вернее будет.

— Он нам на гитаре играл, — сообщила Даша.

— Всячески развлекал, — вздохнула Люба. — Старые магнитофонные записи ставил. Персиками нас угощал.

— Да, — оживилась Даша, — так и сказал: девочкам — персики.

Они говорили шёпотом, оглядываясь на дверь; вели себя как заговорщики. За стеной приглушённо работал телевизор, превращая человеческие голоса в бульканье лопающихся звуков, имевших отношение к киселю или варенью.

Олег представил себе, как дядя в тяжёлых и массивных старомодных очках смотрит телевизор — один из четырёх, образовавших неприступное ограждение у окна. Он и сам сидел вчера у этого телевизора: дядя пригласил его посмотреть футбол. Вот была мука! «Я прочитал, — сказал дядя, — что цветной телевизор вреден для зрения». Перед глазами Олега было плывущее по экрану на свалку чёрно-белое нечто без резкости и контрастности. Смотреть на это было неприятно и больно, лучше уж слушать, как репортаж по радио. Спасая глаза, Олег терпеливо уставился в угол стены поверх этого безобразия.

Наступивший день ушёл на исправление ошибок, ведь послезавтра предстояло уехать. Олег был настроен решительно. Пришло время приложений и примечаний — вообще всего сразу. Они побывали в Парке Горького, на Воробьёвых горах, отведали «пирожка-творожка» и даже купили в ГУМе что-то очень нужное к осени. Возвращались довольные, как в школьном сочинении.

Уже на пороге дядиной квартиры замешкались — из-за двери был слышен женский смех. Олег с Любой молча переглянулись: кто бы это мог быть? И тут Даша шёпотом произнесла:

— Его лошадка.



Тогда ещё ходили трамваи. Двойка — основной для меня маршрут, протяжённый, извилистый. Как сядешь у вокзала, так, кажется, и не доедешь. Медленно вагон катит — светфоры, перекрёстки. Летом внутри пыль столбом стоит — пылинки над полом от солнца светятся, зимой — холодно, но свежее. Поднимаешься по ступенькам в полупустой вагон вечером, стряхивая с одежды снег, ещё и потопчешься для уверенности. Сядешь у заледенелого окна и подышишь, как в детстве, теп-

лом на морозные узоры, выгревая себе тёмный на белом кружок для обзора. Подышишь старательно, расширяя пространство зрения, округляя его до настоящего окна в мир, потрёшь ещё пальчиком, выравнивая кромки, — и вот уже улица проезжает мимо тебя: различаешь дома, машины, силуэты людей. Словом, можно что-то разглядеть в темноте и сообразить, где ты находишься.

Ехать из конца в конец долго, наверное, нудно, — закоулками какими-то, собирая немногочисленных пассажиров с тех мест, где больше ничего не дожидаться, — а мне так интересно. Я никуда не спешу, и как-то никогда мне не приходилось спешить. Кому очень надо, тот и на маршрутке поедет. А меня эти грязные быстроногие «газели» как-то не прельщают. Приходилось, конечно, пользоваться, и всё как-то зажато себя чувствовал, неудобно.

Входишь, нагибаясь, задевая колени уже сидящих, пробираешься к свободному местечку и стараешься как-то там примоститься между ведром с грязной тряпкой и пыльным колесом. Это уж так для удобства пассажиров заведено: непременно в салоне маршрутки тебя будут ждать ведро с тряпкой и лежащее рядом колесо. Неудобно ногам на этой запаске. И есть вроде бы выход: разместиться впереди, с водителем рядом, но и тут случается всякое. Тесновато, конечно, тоже, если ещё кто-то присоединится. Оказываешься, как говорится, между двух огней. Водителю мешаешь скорости переключать — поджимаешь ноги, втягиваешься. И всё бы ничего, дотерпел бы, доехал, раз оказался в таком капкане, даже в сопровождении блатного шансона, да только ещё и сам водитель может какой-нибудь номер выкинуть — так подчас огорошит, что не сразу найдёшься.

Сажусь однажды вот так впереди — на улице мороз, скорей бы в тёплый уголок забиться. А водитель вдруг спрашивает меня: «Дома холодильник так же закрываете?» Внятно так, спокойно; радио не орёт, мне хорошо слышно. «Что?» — выдохнул я, не понимая. А он — снова: «Я говорю, дома...» — и с каким-то вызовом на меня смотрит, пренебрежительным превосходством, словно ждал меня заранее, при-

метив мою фигуру, бегущую к остановке. И лицо у него такое довольное своим недовольством. Я ещё и отдышаться не успел, но наконец-то понял, про что он. Как только хотел спросить: «Какой холодильник?» — так сразу и понял, и потому промолчал.

Ну ничего, ладно; не зная, о чём тут можно спорить, молча смотрю прямо перед собой, переживая свою езду в этом тряском «холодильнике». Он рулит дальше, а сам поглядывает на меня, как бы раздумывая, что бы ему ещё такое со мной сотворить. И вроде бы я нормально дверь закрывал за собою, не хлопал, хотя очень часто, как раз наоборот, просят сильнее хлопнуть. К чему бы всё это?

В общем, чтобы не пришлось мне больше задаваться подобными вопросами, я перестал пользоваться маршрутками. На трамвае всё-таки как-то надёжнее и спокойнее. К тому же простор внутри. Главное, что нет прямого контакта с вагоновожатой и ты не услышишь от неё никакого дурацкого вопроса и этих поносящих напоминаний: «Кто ещё не передал за проезд?» Она занята своим прямым делом и ни на что не отвлекается.

В трамвае я обычно сажусь по левую сторону движения — даже не знаю, почему так получается. Еду от вокзала по Кольцовской, на Девицком выезде трамвай в любом случае останавливается: либо красный свет на перекрёстке, либо надо перевести рельсы. На моей памяти ни разу не получалось проехать без остановки. И, значит, стоим. Передняя дверь отъезжает назад. Из кабины водителя показывается женщина в плотной жилетке с ломиком в руке. Она выходит на мороз, чтобы выправить путь. Быстро возвращается в клубах пара, ладонь левой руки прижав к горлу, обмотанному шарфом. Раздаётся звонок, трогаемся. У цирка поворот на Моисеева, ещё немного вперёд и налево, на Краснознамённую. И тут я понимаю, почему сажусь слева, — оказывается, это прячется во мне уже давно, словно я до сих пор так и не разгадал какую-то загадку.

Вот она, причина, в этом самом месте, где трамвай сворачивает налево и словно втискивается — так кажется почему-то — между двумя соседними домами. Именно в этот момент, когда трамвай делает поворот, я поднимаю го-

лову и выворачиваю её назад — за уходящим углом дома, его фасадом — там, в череде окон верхнего этажа, я хочу поймать блеск солнца, чтобы вспомнить то смутное чувство узнавания, близкое к детству.

Кажется, это было летним вечером, и только в такое время и могло произойти. Когда люди шли с работы и солнце клонилось к асфальту. В нагретом воздухе разлита приятная усталость и хранится ожидание чего-то. Разные шумы, звуки, посторонние голоса уже складываются в одну общую картину жизни, в которой только начинаешь осваиваться и ещё не ведаешь своей участи. Внезапный высверк солнца в верхнем окне придаёт всему хаотическому движению смысл. Ты просто поднимаешь голову — случайно, отвлекшись от чего-то — и это происходит: скользким, жарким блеском в стекле отражается солнце. Это происходит только с тобой. И вдруг представляется в это мгновение, что знаешь о жизни наперёд что-то такое, чему и слов не найти. Вдруг осознаёшь её размеры и высоту, так что голова может закружиться от этого знания, от этого бессмертия, вынести которое никому не под силу. Ты ловишь этот блеск как признание. Ты вникаешь во всё сразу — словно ты что-то знал прежде, в другой жизни, но потом позабыл и теперь вдруг вспомнил по случаю. Всё вдруг открылось и стало близким и понятным; как это, оказывается, просто, вот так всё сразу узнать!

Возможно, ты сидел на коленях у отца. Вы возвращались откуда-то домой. Ты устал, и в этой усталости было что-то хорошее. Наверное, в руках у тебя была какая-то игрушка в коробке, купленная в магазине. Поглаживая коробку, ты беспечно болтал ногами, напевал что-то и вдруг повернул голову к окну, поднял глаза и скользнул взглядом по верхнему этажу дома, мимо которого проезжал трамвай...

Сколько раз потом я пытался вернуть это чувство: когда трамвай заворачивал от цирка, поднимал голову в надежде поймать этот блеск; думал о том, под каким углом во время поворота к дому дребезжащее трамвайное стекло должно совпасть с окном на последнем этаже, и, конечно же, думал про солнце, скатывающееся к горизонту; подбирал пого-

ду, день, чтобы совпали все признаки, но ничего не совпадало — ни день, ни час, ни минута, ни та прежняя насыщенность жизни. Это было чудо, про которое можно только вспомнить, что оно было, но почувствовать его во всей полноте, повторить его, узнать уже невозможно.

Ничего подобного с тех пор со мной не происходило; мне не удавалось поймать мгновение, в которое вмещался бы целый мир, и я не совершал никаких открытий.

Теперь если что и случается, то каким-то приземлённым выходит, по смехотворному поводу, и поражает разве что своей бессмысленностью, и даже в своей напыщенной серьёзности сквозит пустяком; всё оказывается снаружи, а не внутри.

Я снова ехал по привычному маршруту. Зима, ближе к ночи — и время года не то, и время суток. И всё равно при повороте к знакомому дому у цирка (и с чего это я взял, что здесь тесно?) инстинктивно поднимал голову, чтобы совместить некую тоску с ушедшим, невозвратным началом. В окнах был свет, но не было промелькнувшего блеска. Я словно хотел протиснуться куда-то, но у меня ничего не получалось.

Дальше поворот направо — и теперь какое-то время по прямой. За окном получается что-то увидеть: одноногие горбатые фонари выхватывают под собой полосы свежего искрящегося снега. В вагоне, кроме меня, ещё три человека. Каждый сам по себе: у передней двери женщина пенсионного возраста в громоздком пуховике с капюшоном; сзади неё, через два ряда, неприметный паренёк в куцей, несмотря на мороз, курточке, руки в карманах, лицом уткнулся в тощий шарф; а по моей стороне, после них, но на два места впереди меня, согнувшийся над пакетом с каким-то барахлом старик в драном кожухе — из тех, отринутых обществом одиноких людей, у которых вряд ли есть постоянное жильё и которым не важно, куда ехать, главное, чтобы было не так холодно; мороз, к счастью, убивал все возможные запахи, и о них можно было только догадываться. Я, стало быть, сзади всех, как раз напротив задней двери.

Выезжаем на простор. Вагон наконец разогнется, и кажется, что он уже утратил рельсы и просто мягко летит по снежной пелене, пушит по сторонам снежком и, раскачиваясь, несётся в темноту, оставляя за собой сиротливые придорожные столбы.

Давно уже на остановках никто не входил и не выходил. Ехать ещё прилично; уже и в сон меня потянуло, пригрелся. И вот вдруг кто-то поднимается в отъехавшую вперёд дверь. Я отворачиваюсь от окна — из ледяной, дышащей снегом темноты, из неугаданного, лишённого каких-либо ориентиров места прямо передо мной возникает странный человек. Странность его определяется по одной только обуви. Я смотрю вниз, на его ноги, и вижу лакированные остроносые туфли на каблуках изящной работы, коричневые, с томным, паркетным блеском, судя по всему, летние. Сразу же встаёт вопрос: как же их обладатель пробирался к остановке по этим непроходимым сугробам, сопровождавшим трамвай на всём пути, как вообще не замёрз? Но выше было ещё интереснее. Узкие, тоненькие жаккардовые брючки цвета «индиго» с агрессивным насыщенным оттенком, с пустой, даром отвисшей попкой и какими-то цепочками. И главное, одежда — то, что я назвал бы камзолом, если бы точно знал, что это такое. Во всяком случае, нечто подобное, совсем не повседневное, а торжественное, для какого-то строгого священного ритуала и обеспечения регалий. Тёмно-зелёный, отдающий в благородную синеву с тайным светом бархат; похоже на мундир с золотым позументом, который к тому же украшен тесьмой и дополнительными знаками различия неизвестных степеней и свойства. Кажется, ещё бант был или жабо, не разглядел, — он уже повернулся, прошёл дальше, взялся за поручень голый, без перчатки, рукой.

В профиль видно лицо: спокойное, занятое, прямой нос, тонкие губы. Сам парень высокий, жилистый. На голове — наборная трёхцветная бейсболка, годная разве что для осени. И совсем не холодно ему. Или только делает вид, хотя попробуй сделать на таком морозе; однако не дрожит, стоит ровно. Только раз снял бейсболку и почесал затылок, показав ухоженную голову с блестящими волосами,

чем окончательно напомнил то ли какого-то стилиста, то ли визажиста — разукрашенного, «звёздного», — словно сбежавшего с телешоу в провинцию на кратковременные каникулы, чтобы отдохнуть от гламурной суеты.

Но недолго мне пришлось им любоваться. На следующей остановке в переднюю дверь, стуча ботинками, стряхивая снег с одежды рукавицами, похожими на лопаты, поднимается новый пассажир. На нём невыношенный ядовито-камуфляжный бушлат с меховым воротником, такого же цвета плотные штаны, заправленные в высокие, с вывернутым наружу мехом тупоносые ботинки со шнуровкой. Он в серьёзной зимней шапке — большой, пушистой, таёжной. Словом, колоритный, но вполне возможный персонаж, в отличие от невероятного, вошедшего в трамвай остановкой раньше, «стилиста».

«Таёжник» шагнул прямо от двери, взялся за поручень и, как водится, огляделся по сторонам; он скользнул взглядом дальше, в конец вагона, мимо меня, и, выворачивая шею, вдруг увидел. То, что он увидел, его озадачило и напрягло. Я же заметил, что его тоже увидели. В его небритом лице выразилась какая-то идея. С предчувствием беды я повернул голову в сторону «стилиста», лицо которого, как оказалось, было одержимо идеей прямо противоположной.

Они увидели друг друга, и что-то промелькнуло в их лицах — настороженность, враждебность. Они вдруг застыли, как два заметивших друг друга на улице пса. У «стилиста» заходили желваки, расширились крылья носа. Только что он был потешным участником нелепого карнавала и вдруг зримо представился искушённым, на взводе, бойцом. «Таёжник» смотрелся не менее свирепо.

Долго так продолжаться не могло. Скинув рукавицы, он бросился навстречу своему сопернику, потому что тот тоже побежал. Две странные фигуры сшиблись посередине трамвая. Началась возня — с судорожными лицами, с учащённым дыханием. Они поворачивались и так, и этак. Бешено топтались, хватая друг друга руками. То «стилист» напряжённой ладонью запрокидывал «таёжнику» подбородок кверху, то «таёжник» тянул «стилиста» за ухо

вниз. Объятия были непримиримыми, смертельными. Наконец они расцепились и отпрянули друг от друга. «Таёжник», ухватившись обеими руками за поручни, протянувшиеся вдоль прохода, качнулся на манер обезьяны и, набрав силу, въехал «стилисту» в грудь своими суровыми ботинками, которые я видел однажды в телерекламе, — с рифлёной такой подошвой и названием, напоминающим о каком-нибудь внушительном танке или скоростном боевом истребителе. В груди «стилиста» что-то треснуло — кажется, лопнул камзол. Он отступил назад, но устоял, потом ринулся на своего обидчика с удвоенным пылом и крепко припечатал ему кулаком в подбородок...

Красный ребристый трамвай уходил в снежную ночь, а в его салоне разворачивалась непонятная битва. Станным образом на всём протяжении схватки никто из противников не проронил ни слова. Ещё более удивительным было то, что при всём размахе и свободе борьбы они никого не задели и не возмутили, если не считать женщину у передней двери. Она, желая узнать, что за странные звуки раздаются за её спиной, пыталась опасно оглянуться, но никак не могла это сделать из-за злополучного пуховика с капюшоном, сковавшего её, как панцирь. Парень, уткнувшийся в шарф и примостившийся у окна, спал и был надёжно укрыт от окружающего мира. А старичок в потрёпанной одежке как ни в чём не бывало запускал руку в свой мятый пакет и изредка хмыкал — то ли в знак одобрения происходящего, то ли от собственного независимого расположения духа.

Всё это кончилось так же неожиданно, как и началось. Трамвай вдруг дёрнулся на месте, его двери отъехали. Образовавшие в этот момент единое и неразрывное целое бойцы клубком выкатились на переднюю площадку, к открытому и холодному пространству, и исчезли в пустоте ночи.

Двери вернулись в прежнее положение, и трамвай двинулся дальше. Сколько времени заняла эта схватка? Минуту? Две? Сообразить это было невозможно. Женщина в пуховике наконец-то сумела подняться. Она строго оглядела оставшихся пассажиров и, не обнаружив ничего предосудительного, вышла на

следующей остановке. Потом очнулся парень в короткой куртке, благополучно всё проспавший, но, кажется, так и не выспавшийся. Сутулясь и зевая, он спустился по ступенькам.

А вот и конечная. Пора выходить мне и старику. Я встаю и замечаю на полу что-то интересное. Поднимаю. Пуговица, кажется, медная, с бархатным оторвышем. А ещё волчий клоч от шапки — от уха, с завязкой. Старик довольно восклицает: «Красиво дрались, черти!» Он неожиданно беззвучно смеётся и поднимает руку ко рту. На его губах остаются крошки от булки. Конечно, хотелось бы всё это определить как жестокую забаву, но что-то не определяется.

На улице стало ещё холоднее. Проваливаясь на стороны в снег, я пробираюсь по узкой и прерывистой, проложенной кем-то тропке. Впереди меня ждут большие дома, в которых светятся окна; там будет тепло, я надеюсь, и обязательно отвлекут какие-то дела. Но пока что я оборачиваюсь и смотрю на старика. Он не спеша, без дороги, удаляется от меня — за город, к тёмным соснам, скованным морозом, верхушки которых присыпаны снегом. Ветер дует ему в спину, теребит его пакет. Кажется, что он движется наугад. За соснами поле, а за ним посёлок. Там тоже есть дома, и в них светятся огоньки. Туда? Наверное.

Трамвай стоит. Ему надо возвращаться в депо. Что-то важное случилось вокруг, не сейчас, ещё раньше, а я пропустил, не придал этому значения. И тут мне вдруг представляется, что у этой ночи обязательно есть название, как оно есть у каждого дня. И может быть, я его узнаю или вспомню. Я ещё не знаю, что летом трамваи в нашем городе прекратят своё существование; часть путей, в центре, разберут, а оставшиеся рельсы будут ржаветь и зарастать травой.

Виктор Николаевич НИКИТИН

родился в 1960 году в Москве.

Работает завотделом прозы журнала «Подъём».

Публиковался в журналах «Север», «Звезда», «Москва», «Октябрь»,

«Наш современник», «Сибирские огни», «Подъём», «Дон» и др.

Автор книг прозы: «Исчезнут, как птицы» (2007),

«Игра с незнакомцем» (2013),

«Жизнь в другую сторону» (2017).

Лауреат премии «Кольцовский край» (2018).

Член Союза писателей России.

Живет в Воронеже.

